

ДИНА РУБИНА



Единственный голос



Дина Ильинична Рубина
ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОЛОС
Серия «На солнечной стороне»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51863535
Единственный голос: Эксмо; Москва; 2020
ISBN 978-5-04-108380-9

Аннотация

В любовной прозе Дины Рубиной, как и в жизни, возвышенное соседствует с бытовым. Но любовь при этом не девальвируется, не опошляется, не исчезает под грубым натиском действительности. Уживается. И если бунинский «солнечный удар» убивает, то рубинские «солнечные лезвия» ранят смертельно, но погибнуть не дают – обрекают на испытание. На всю оставшуюся жизнь.

В рассказах Рубиной на эту тему нет экзальтации, даже когда страдание героев неподъемное. В галерее пишущих о любви Дина Рубина – один из самых честных и мужественных писателей.

Содержание

Предисловие. Давно это было...	5
Несколько торопливых слов любви	8
Область слепящего света	8
На долгом светофоре	18
Шарфик	24
В прямом эфире	36
Мастер-тарабука	46
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Дина Рубина

Единственный голос

© Рубина Д., 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Предисловие. Давно это было...

Цикл коротких новелл «Несколько торопливых слов любви» начался с того, что моя мама, как и любой хороший рассказчик, любящий повторять свои истории не однажды, принялась в пятый раз рассказывать о двух подругах юности, переживших несчастную – каждая по-своему – любовь. Я и сама не люблю, когда меня перебивают идиотским замечанием, что уже слышали эту историю, поэтому терпеливо дослушала мать до конца.

Как известно, счастливая любовь в литературе еще никогда никого не интересовала.

И когда западные издатели уверяют, что читатели предпочитают «хеппи-энд» в финале книги, я готова с этим согласиться. Но не полностью. Возможно, смерть героя действительно претит массовому читателю. Возможно, в конце милосердный читатель предпочитает видеть героя живым и умиротворенным. Но уж до того герой изволь-ка пострадать, да вывалиться в грязи и насаде, да извести море слез, а лучше крови, изволь-ка разбить кому-нибудь сердце, а затем, лет через двадцать, встретить первую любовь и ощутить себя глубоко несчастным. Короче: литературный герой должен пострадать, иначе он никому не нужен.

В обеих рассказанных мамой историях наличествовала

любовь сильная, драматическая, в чем-то похожая одна на другую... Ситуации только были совершенно противоположными, даже парадоксально иными... И в какой-то момент (никто не может сказать – почему и как это случается) я почувствовала, что они просят литературного воплощения. Я села и написала короткий рассказ, поделенный на две части, и назвала его «Такая долгая жизнь».

В работе литератора, который пишет романы и повести, подобное событие большого значения не имеет. Рассказ остался лежать «до случая» – то есть до выхода следующего сборника мелких вещей.

Но произошло вот что: на эти коротенькие истории любви, как на магнит, стали слетаться другие любовные истории. Как будто стая птиц собиралась, чтобы совершить долгий перелет в неизвестные края.

В самый неожиданный момент какая-нибудь моя подруга, или давний приятель, или даже едва знакомый человек, взяв с меня слово изменить в книге имя, название города или даже страны, вдруг рассказывали мне истории своих юных или недавних любовей, торопясь, смущаясь и оправдываясь тем, что больше не могут держать их в себе. Каждая из этих историй была достойна литературы. Я лишь дивилась способам, к которым прибегает судьба, которой зачем-то необходимо, чтобы были написаны те или другие литературные произведения.

И они были написаны: стая коротеньких рассказов, изло-

женных намеренно просто, повествовательно – как обычно рассказывают свою историю ночью попутчику в купе поезда. Я и свои две истории наконец достала со дна души – не скажу какие. Давно это было – когда я жила взахлеб, торопясь, выговаривая главные слова так, будто они обжигали губы... И когда дописала – стая рассказов поднялась в воздух и полетела. Она до сих пор парит – высоко, где-то у меня за спиной. Я не оглядываюсь, не перечитываю их, просто чувствую невесомый мах далеких крыльев...

Дина Рубина

Несколько торопливых слов любви

Область слепящего света

Она опоздала к открытию международной конференции, о которой должна была дать материал в «Вестник университета». В зале было темно: докладчик показывал слайды, слева от светящегося экрана угадывался смутный силуэт, и голос бубнил – запинаящийся высокий голос легкого заики.

Когда глаза привыкли, она спустилась по боковому проходу к сцене и села в кресло второго ряда.

«Вот, опоздала... – думала она, безуспешно пытаясь вникнуть в какую-то схему на экране, – из выступлений на открытии можно было бы состряпать материал, теперь же придется высидеть несколько докладов вроде этой тягомотины. И где раздобыть программу, чтобы как-то ориентироваться в темах и именах; кто, например, этот зануда?»

Показывая что-то на экране, докладчик слегка подался вправо, и в области света неожиданно возникло лицо, вернее, половина лица, всегда более выразительная, чем банальный фас: высокая скула, правильная дуга брови и одинокий, нацеленный прямо на нее, молящий о чем-то глаз. Несколько секунд рассеченное лицо персонажа мистерии качалось и смотрело, смотрело на нее с пристальной мольбой, затем

отпрянуло и погасло...

Этот мгновенный блиц лунного полулица ослепил ее такой вспышкой любовной жалобы, словно ей вдруг показали из-за ширмы того, кого давно потеряла и ждать уже зареклась.

Она отшатнулась и слепыми руками стала ощупывать ручки кресла, будто надеялась ухватить смысл того, что с ней сейчас стряслось. И несколько минут пыталась унять потаенную дрожь колен, бормоча: «Да что это!.. Да что ж это, а?!», пока не поняла, что бессильна, что уже не имеет значения, кто он, чем занят, свободен или нет и куда исчезнет после того, как в зале зажжется свет.

Зажегся свет, объявили перерыв.

Он оказался невысоким неярким человеком средних лет. Все это не имело уже никакого значения, как и ее удивление по поводу его скромной внешности, столь отличной от того трагического полулика, что был предъявлен ей в темноте.

Она подошла туда, где его обступили, уточняя и доспоривая по докладу, коллеги, задала спешно слепленный вопрос. Он рассеянно кивнул ей, договаривая что-то маленькому толстяку аспиранту, и вдруг резко оглянулся, ловя обреченным взглядом ее лицо. Она пошла к выходу, спиной чувствуя, как торопливо складывает он в папку материалы доклада, ссыпает слайды в пенал и бросается следом.

И с этой минуты все покатилося симфонической лавиной, сминающей, сметающей на своем пути их прошлые чувства,

привязанности и любви – все то, чем набиты заплечные мешки всякой судьбы...

Он нагнал ее в фойе, у гардероба:

– Простите, н-не расслышал ваших...

– Неважно, я только хотела уточнить...

– Позвольте, я п-помогу вам пальто...

– Да не надо, спасибо, нет, постойте, там шарф в рукаве, шарф...

Ее растерянные руки, не попадающие в рукава поданного им пальто, и его беспризорные руки, неловко коснувшиеся (ах, простите! – обморочное оцепенение обоих) ее груди...

Если она не торопится, он мог бы ответить на ее вопрос о...

К сожалению, она торопится, очень, абсолютно неотложное дело: обещала сегодня матери исправить подтекающий кран на даче...

– Кран?! Да я сейчас же... Господи, какие п-пустяки! Я мигом все устрою.

– А у вас есть?.. – (робко-счастливо).

– Время? Н-ну, сколько это займет?

– Да не меньше двух часов.

– Какие пустяки!

Затем – минут двадцать в тамбуре гремящей электрички: отрывистые, сквозь железнодорожный грохот, возгласы и его глаза с припухшими, словно калмыцкими веками – одуряюще близкие, когда его бросает к ней на стыках рельсов...

Далее – пятнадцатиминутный пробег по обледенелой поселковой дороге к заглохшей на зиму даче, возня с замком, не желающим сдаваться замерзшему ключу в ее пляшущих пальцах, и его прерывистое:

– П-позвольте уж мне... все ж, какой-никакой, мужчина...

Наконец замок побежден, дверь со скрипом отверзлась, они ввалились на застекленную веранду, где немедленно он обнял, как-то по-детски обхватил ее, судорожно всхлипнув...

Ну, и так далее...

Воспользуемся же хрипло задыхающейся паузой для краткой биографической справки.

Он: доктор наук, историк, специалист по хазарам, автор двух известных книг, женат, две дочери – семнадцать и двенадцати лет.

Она: журналист, автор сценариев двух никому не известных документальных фильмов, два неудачных брака, детей нет, сыта по горло, оставьте меня в покое...

И как подумаешь – что за радость в этих случайных всплесках незнакомых судеб, в мерзлых, не убранных с лета простынях на дачном топчане, в прикосновениях ледяных пальцев к горячему телу! В нашем возрасте от постельных сцен требуешь наличия по крайней мере приличной постели. Так ведь и простудиться недолго...

Кстати, бешеный подростковый озноб, сотрясавший обоих, был скорее температурного свойства. Выяснилось, что заболели оба – в те дни по Москве гулял заморский вирус.

– Горло сохнет, – сказал он, морщась, – где тут кран?

– На кухне...

Он поднялся, по-старушечьи накинув плед на плечи, побрел в кухню.

– Действительно подтекает! – крикнул оттуда.

После чего кран был забыт навеки и подтекает, вероятно, до сих пор. Вернувшись, минут пять стоял в проеме двери, глядя, как она лежит в бисере пота, в области слепящего зимнего света, бьющего через окна веранды.

Когда спустя часа два наконец оделись и вышли, он сказал:

– Через неделю я уезжаю...

Они стояли на платформе в ожидании электрички. Поодаль прогуливалась пожилая тетка с линялой изжелта болонкой.

– А вернешься когда? – спросила она.

Он хотел ответить «никогда», и, в сущности, это было бы правдой. Но сказал:

– Н-не знаю. Может быть, через год... Я уезжаю всей семьей в Израиль.

Ну да, так она и предполагала.

Да ничего она не предполагала, какого черта! Все это об-

рушилось на нее сегодня утром, когда она вошла в темный конференц-зал и из-за ширмы судьбы ей показали карнавальное полулицо с прицельным глазом.

– Чему ты улыбаешься? – спросил он хмуро.

– А вон, ей... – сказала она, – даме с собачкой.

Неделю она провалялась с гриппом. Он, вероятно, тоже. Ну, вот и ладно, и хорошо, прощайте, мое славное приключение!

Когда, по ее расчетам, самолет «Москва – Тель-Авив» должен был уже набрать высоту, зазвонил телефон и его голос торопливо сказал:

– Я из Шереметьева, на м-минутку... Договорился с Юровским, тебя п-пригласят в декабре на конференцию в Иерусалим... Что?! – крикнул. – Н-не слышу! Что ты сказала?!

Тут связь оборвалась, и она заплакала – от счастья.

Спустя несколько недель она вывалилась в аэропорту Бен-Гурион – в расстегнутой дубленке, с мохнатой шапкой в руке – прямо в солнечный средиземноморский декабрь.

Он стоял отдельно от пестро-цыганской толпы встречающих – незнакомый, молодой, в джинсах и какой-то легкомысленной куртке. Стоял поодаль, подняв обе руки, словно сдавался неборимой силе. И когда она приблизилась, медленно опустил руки ей на плечи, ошупывая их, как слепой.

В автобусе они постепенно вспомнили друг друга, он стал

оживлен и, спохватываясь, показывал что-то в окне, что, по-видимому, было прекрасным и достойным восхищения, и несколько раз повторял, как все замечательно сложилось – и, главное, конференция именно в Иерусалиме, что позволило ему вырваться из Хайфы на все эти три дня...

– У меня доклад только завтра утром, – добавил он, – а дальше – тишина...

Она жадно смотрела в его шевелящиеся губы, словно боясь пропустить нечто главное, что он сейчас произнесет и тем самым спасет обоих навсегда.

В огромном холле роскошного отеля они получили у портье ключи от номера, затем троекратно отразились в зеркалах скоростного лифта два полуобморочных лица, и – на все три дня конференции с неизвестным для нас названием – мы оставим их, беспомощных владык друг друга, разглядывать крыши Иерусалима из-за штор отеля «Холидей-Инн», с высоты двенадцатого этажа...

Лишь однажды он сказал, стоя у окна за ее спиной и наблюдая, как горная ночь по одной, словно свечи, задувает горящие отблеском солнца черепичные крыши:

– Этот город заслужил, чтобы его рассматривали не с такой высоты...

...И три дня спустя они опять стояли в аэропорту Бен-Гурион в ожидании контроля, очень здесь строгого.

– Там восемнадцать м-мороза! – говорил он. – Это безу-

мие – такие перепады температур!

Она стала оправдываться, что иначе шеф ни за что не позволил бы отлучиться, только прицепившись к рутинной командировке, удалось так лихо зарулить сюда. И, бог даст, еще удастся. Когда-нибудь...

– Когда, например?

Никогда, вдруг поняла она. Но сказала легко:

– Ну... в марте, скажем... Или в апреле...

– В апреле здесь хамсины... – сказал он.

Уже ступив на эскалатор, она помахала своей растрепанной, как болонка, шапкой и что-то проговорила.

– Что?! Н-не слышу!

– Дама с собачкой!..

Ее уволакивал эскалатор – рука с шапкой, полы дубленки, сапожки...

Вознеслась...

Он взял в баре чашку кофе и плитку шоколада и, как бывало в юности после шальной и пьяной ночи, тут же ее жадно съел. Заказал еще сто граммов коньяку и, совершенно счастливый, сидел минут сорок на высоком неудобном стуле, пока его не потеснила очередь. «Как молодой...» – подумал он.

Поднялся и вышел.

Навстречу ему переходили дорогу три армянских священника под большим зонтом. Тот, что был посередине, коротенький и толстый, перешагивал через лужу, придерживая

полу сутаны движением женщины, приподнимающей подол платья.

И всю дорогу до Хайфы, и позже, когда, оттягивая возвращение домой, сделал пешком колоссальный крюк, чтобы постоять над заливом, над кранами и мачтами в порту, – он пытался хотя бы мысленно собрать и отладить свою жизнь, взорванную и разнесенную в клочья тремя этими днями в поднебесном номере «Холидей-Инн».

И пока плелся к дому, поднимался по лестнице, открывал ключом дверь, все думал: что делать, что делать и как прожить хотя бы этот, первый вечер?..

В квартире было темно, только на кухне горел торшер зеленоватым подводным светом, пахло его любимыми творожниками, лилась вода и звякала посуда.

Он хлопнул дверью, чтобы как-то обозначить свое появление.

– Ну, наконец-то! Ты слышал, какой ужас? – крикнула из кухни жена. – Только что передали: над Черным морем взорвался самолет «Тель-Авив – Новосибирск». Еще не знают причину – теракт или авария... Как представишь этих несчастных... их семьи... Костя, а разве наши могли прошляпить террориста?

Перед его глазами поплыл огненный шар их коротенькой высотной жизни, легко взмыл, завис в области слепящего света и – вспыхнул над морем...

Она выглянула из кухни во тьму комнаты, где муж по-прежнему стоял, почему-то не зажигая лампы, и сказала:

– Ну, если ты еще не переделся, так вынеси мусор.

На долгом светофоре

Впервые за много недель она – директор российского филиала крупной международной компании – возвращалась домой с работы засветло. Ехала нарядным центром Москвы, которую лет десять назад в усталой ненависти покинула навсегда, а теперь вот – судьба не копейка – жила здесь, работала и очень любила этот сквер с фонтаном, дугу набережной и горбатый Третьяковский мостик перед Лаврушинским.

День был мягкий, солнечный, с классической желтизной октябрьских деревьев.

«Надо чаще давать себе роздых, – думала она, – взять вот завтра мужа с сыном, поехать погулять... ну, хоть в Ботанический... или в Абрамцево...»

Сегодня ее не раздражал даже водитель Сережа, говорун и философ.

– В «Кулинарию» будем заезжать?

Машина остановилась на светофоре.

Здесь всегда приходилось долго пережидать поток автомобилей.

Она скользнула взглядом по сидящей в соседней белой «Ауди» юной паре и отвернулась. Но тотчас вновь оглянулась на этих двоих, словно ее позвали забытым родным голосом.

Он был настоящим красавцем: пропорции высокого лба и

полетная линия бровей, та, что сообщает мужскому лицу выражение рыцарского благородства, сочетались со слабо выраженным, трогательно детским подбородком.

Она не была красива. Но дивный контраст смоляных волос с праздничной синевой глубоко сидящих глаз приковывал к ее лицу любой встречный взгляд. При таких красках все остальное уже было неважным.

И эти двое в соседней машине ссорились. Он был в бешенстве – губы плясали, как у готового заплакать семиклассника, пальцы обеих рук на руле сжимались и разжимались. По минутно откидываясь к спинке кресла, он – это было заметно с первого взгляда – делал глубокие судорожные вдохи...

А она так заглядывала в глаза спутнику, так умоляла его о чем-то всей мимикой некрасивого прекрасного своего лица, легкой ладонью то накрывала его руку на руле, то отдергивала ее, как ошпарившись...

...Зажегся зеленый, «Ауди» рванула с места, Сережа опять задал какой-то вопрос...

Она сидела, унимая незалеченное сердце, металась в памяти, шарила вслепую по дальним углам – кого, кого напомнили ей эти двое? И вдруг поняла: ее саму, ее юность, ее первую любовь, завершившуюся таким нелепым, таким несчастным мимолетным браком.

...Они стали ссориться с первой минуты свадебного путешествия, когда поезд «Москва – Таллин» дернулся, катнулся

вперед-назад и наконец ринулся плавно набирать обороты.

Она закрыла дверь купе и обернулась к нему. Он стоял с белым от бешенства лицом.

– Ты... ты строишь глазки каждому встречному самцу! – наконец выдохнул он сквозь прыгающие губы. – Тебе важно нравится всем мужикам, даже таксисту, даже носильщику!

Она качнулась, как от пощечины, схватилась за лицо.

– Ты взбесился?! – пролепетала она. – Я сейчас... я выпрыгну из поезда, я... не намерена слушать эту гнусную чушь!..

...Минут через десять вошедший за билетами пожилой проводник-эстонец обнаружил в купе двух заплаканных двенадцатилетних детей, обнявшихся с такой неистовой силой, словно через минуту им выпадало расстаться на всю жизнь. Столик был завален цветами, на полу валялись клочки порванных билетов. Проводник вспомнил, что этих птенчиков провожала небольшая толпа сияющих родственников, усмехнулся и аккуратно прикрыл дверь купе.

И в приморском курортном городке, где в мансарде сняли они крошечную комнату, продолжалась эта смертельная схватка, словно каждый из них с какой-то детской жестокостью пытался разъять любимую игрушку, чтобы разобраться: как она устроена, что заставляет ее плакать, например, и что там тикает внутри – настоящее ли сердце?

Комната принадлежала хозяйской дочери, повсюду были

разложены пестрые тканые салфетки, над тахтой висела гитара, поблескивающая на рассвете багряной верхней декой. Бывало, они случайно задевали ее, и тогда, потревоженная их страстью, она отзывалась в сонном доме удивленной печалью.

Бурные ночи сменялись ожесточенными дневными ссорами, несколько раз она убегала от него на вокзал, и в последнюю минуту он врывался в поезд и выволакивал ее на перрон, не давая вырваться из кольца худых своих рук. Плакал и был совершенно беззащитен. Как и она...

Детям не повезло: тяжелая и сильная любовь, та, что обычно выпадает битому жизнью, усмиренному человеку, была выдана им не по возрасту, не по росту. Так новобранцев жестокий командир бросает на смертельный участок фронта, заранее зная, что те обречены...

И лето не клеилось, каждое утро дождало. В сумрачном городском парке, куда их заносила очередная ссора, стоял мощный запах можжевельника и сосен, и, когда она убегала от него, скрипя кроссовками по мокрому песку дорожек, сосны просыпали за шиворот целые каскады холодного дождя...

Каждый день оба они, истерзанные неподъемной этой любовью, силились выстоять. Вся суть и смысл их необъятных девятнадцатилетних жизней сосредоточились в маленькой комнате с гитарой, на которой никто из них не умел играть...

...Однажды они проснулись в мареве солнечных бликов. Сияло зеркало в медной раме, горела красноватыми стеклышками не замеченная до сих пор люстра. Оказалось, что в ясный день комната буквально затоплена светом. Отличное солнечное утро наконец воцарилось над прибалтийским побережьем, выгнало на пляжи озябших курортников, подсушило морскую гальку на берегу.

Они натянули одинаковые белые джинсы болгарского производства, купленные по случаю в ЦУМе перед поездкой, и вышли на волю. То ли скупое балтийское солнце так радовало их простуженные носы, то ли день такой выдался мирный, только они совсем не ссорились, ни на минуту, наоборот – каждый прохожий, каждая сценка, каждая физиономия вызывали их радостный гогот.

В облюбованном ими обычно пустом кафе на берегу моря сегодня было гораздо больше публики. Официанты вынесли на террасу, обращенную к пляжу, столы и стулья, и кое-кто из посетителей даже отважился заказать мороженое.

Они взяли по чашке кофе и булочке, сели на террасе у самых ступеней, спускающихся на пляж. Протяжная синяя горизонталь распаивалась отсюда в обе стороны. Море кипело колючими бликами, гомонило голосами чаек...

Несколько минут спустя на террасу поднялся старик. Кто-то им показывал его издали, этого опустившегося режиссера местного музыкального театра, с крысиной седой косицей под лысиной. Неделю назад дождь загнал их на музыкальный

спектакль «Хелло, Долли!», поставленный когда-то этим самым бомжеватым стариком.

– Здесь можно присесть? – спросил он, кивая на свободный стул за их столиком.

Они переглянулись, героически пытаясь не рассмеяться.

Старик сел, закурил сигарету. Скучающим взглядом смотрел на низкий горизонт с несущимися по холодной синеве облаками, на чайк, семенящих по песку у самой кромки воды, и вдруг, обернувшись, сказал с неожиданной силой:

– Ребята, вы такие красивые!.. И такие счастливые!.. Вы даже не подозреваете – какие вы счастливые!

Они вскочили как по команде и, не в силах уже сдерживать смех, сбежали по ступеням вниз, на пляж, где, обнявшись, захохотали наконец во весь голос и так, держась за руки, пошли по берегу, удаляясь от террасы кафе, на которой по-прежнему сидел старый человек, с влюбленной тоской следящий за двумя фигурками на берегу.

– ...Что?

– В «Кулинарию», говорю, будем заезжать?

– Да, пожалуй...

Она уже не видела белой «Ауди» впереди.

Перед ее глазами по берегу моря удалялись две фигурки в белом, то разбегаясь в стороны, то опять простирая друг к другу руки, словно через годы пытались докричаться, дотянуться, окликнуть друг друга...

Шарфик

Позвонили из популярного журнала, попросили интервью – к тридцатилетию творческой деятельности.

Ну что ж, это было закономерно; правда, известная поэтесса отмечала не такой уж серьезный свой юбилей, «первый юбилей» – пятидесятилетие, но публиковать стихи она начала рано, давно приобрела имя – не из звездных и скандальных, а из тех, что зарабатываются годами труда, бесстрашной искренностью интонации и некой последовательностью судьбы.

На рубеже эпох, когда надломилась и рассеялись многие имена, ее голос зазвучал с новой спокойной горечью и был услышан молодыми. Так что многие издания восторжеслись.

Итак, позвонили из популярного журнала, и она дала согласие встретиться и поговорить.

– Нина Аркадьевна, но журнал у нас роскошный, глянцевый, – продолжал журналист. – Нужна хорошая фотография.

– Приходите, покопаемся, – сказала она. – У меня этих фотографий – вагон и прицеп...

– А у нас, знаете, свой фотограф... Один из самых известных, может, слышали – Михайлов. Очень серьезный господин! Снимает исключительно на черно-белую пленку... Только это, конечно, займет дополнительное время...

Она испугалась, что вот, пропадет целый день, собралась

мягко отвести эту напасть, но журналист взмолился, стал доказывать, что надо, надо для хорошей публикации, и видно было, что ему не все равно, а значит, профессионал. Перед профессионалами же – в любом деле, будь то парикмахер, сантехник или высококлассный хирург, – она благоговела и чувствовала себя с ними абсолютно защищенной.

– Ну хорошо, бог с вами, – сдалась она. – Но ведь он станет мучить меня, я этого не люблю.

Парень оказался совершенно искренним.

– Конечно, станет! – воскликнул он почти радостно. – Обязательно будет мучить! Но потом вам останутся великолепные, редкие снимки – на все случаи жизни. Хоть в газету, хоть в книжку, хоть на стену в рамочку.

Так оно и получилось.

Само интервью прошло легко, как-то почтительно-приятельски: молодой человек оказался *добротным* и действительно вел себя как профессионал. Вопросы задавал толково и точно сформулированные, не банальные, острые, но не наглые, – говорить с ним было интересно и ненапряжно; к тому же был он из этого удивительного поколения совсем молодых людей, выросших уже в новое, *прямоговорящее* время, а ей всегда было странно и любопытно – что они находят в ее стихах...

Словом, за час управились и остались друг другом довольны.

Тут он спохватился, стал одеваться и пообещал, что вот-вот, минут через десять-пятнадцать, *они появятся*.

– Кто это – они? – спросила поэтесса.

– Ну, Михайлов и еще один, визажист...

– Кто-кто?!

Журналист смущенно и плутовски улыбнулся. Он уже стоял в дверях.

– Нина Аркадьевна, дорогая, но ведь если б я сразу сказал, что явится целая команда, вы бы меня и на порог не пустили?

– Конечно, не пустила бы! – возмутилась она.

– Вот видите, пришлось снагличать. Простите ради бога, и...

В дверь позвонили, на пороге стояли двое; произошла некоторая рокировка – журналист откланялся, а двое вошли... Вот не было печали!

Один – пожилой и угрюмый, – собственно, и был фотографом. Он молча расставлял какую-то треногу с козырьками, вешал лампы, протягивал провода к розеткам... Второй никем не был. Просто ходил, шатался по квартире, рассматривал книжные полки, фотографии на стенах и на письменном столе... Никуда не торопился. Это был высокий блондин лет двадцати семи, как-то по-особенному изысканно одетый. Ничего броского или экстравагантного на нем не было. Но вся блекло-серая гамма мягких вельветовых брюк, джемпера и рубашки с открытым воротом, щегольская клетчатая кепка, которую он положил на стул в прихожей, длинный тем-

но-вишневый шарф, оставшийся валяться на плечах, словно в изнеможении, неуловимо изобличали – тоже, как это ни странно, – профессионала.

У него была странная мимика нижней части лица. Вернее, просто необычного строения губы – припухлые и сложенные так, словно самих губ-то и нет, как будто он их вобрал в рот. Получалась какая-то постоянная глухая усмешка, не совсем уместная, – вроде он знает что-то особенное, чего пока не знает никто, и постоянно на это намекает.

– Витя, поищи-ка что-нибудь... – хрипло сказал фотограф Михайлов.

Она поняла, что эта тоска смертная надолго. Может, и весь вечер пропадет.

– У вас есть что-нибудь интересное? – спросил блондин Витя. – В смысле реквизита?

– У меня не театр, – сказала она. – Вы что имеете в виду?

– Ну... шляпы какие-нибудь, шарфы, шали... Надо вас задрапировать...

– Да вы что! – удивилась она. – Вы, наверное, спутали. Я не танцовщица.

– Вы – женщина! – возразил Витя и опять улыбнулся своей странной улыбкой.

Нина Аркадьевна пожалала плечами, пошла в прихожую и принесла оттуда две широкополые шляпы – бежевую и черную. Бежевую они сразу отмели, когда же она надела черную, они ахнули – так ей шли широкополые черные шляпы (она

знала это и всегда покупала их себе в разных странах), – ожились, задвигались, потребовали и черное пальто, которое тоже оказалось в прихожей.

– Вот это уже что-то, кое-что... – промурлыкал Витя, цепко, мимо лица как-то, но всю целиком разглядывая ее, с этими поджатыми губами... – Шарфы?

Она покорно принесла из шифоньера в спальне разноцветные шарфы. Блондин выхватил все, стал ловко разбрасывать их на руках, раскидывать, вязать узлы на концах... Накинул ярко-алый шарф на ее плечи поверх пальто и сам остался в восторге...

– Витя! – гаркнул вдруг Михайлов. И застыл, оцепенело глядя в окно. Там впервые за эту осень падал мокрый снег. – Скорее! Хватай ее, хватай все, помчались на набережную!

И пока они под руки сволакивали обалдевшую поэтессу по лестнице вниз, пока заводили машину и ехали, Михайлов повторял:

– Ай-яй-яй, какая удача, а?! А я ж вчера погоду слушал-слушал, ждал, как маму родную, а они ни словом, ни словом!..

Мокрый косой снег летел все пуще, лепил на ветровое стекло машины целые нашлепки, как жвачку выплевывал... Нина Аркадьевна мысленно проклинала идиотский вечер, интервью, нахальную парочку, но, как выяснилось, это было только началом...

Они выволокли ее из машины, блондин стал вытворять

что-то немыслимое: мять ее шляпу, нахлобучивать как-то вперед и на лоб, повязывать своевольно, как на бесчувственный манекен, шарф... Затем ей велели пальто расстегнуть и бежать под снегом вниз, по гранитным ступеням к воде. Михайлов стоял наверху, жадно щелкал фотоаппаратом, как из пулемета.

– Ко мне! – кричал он. – Бегите ко мне вверх по лестнице!

– Да скользко же! – восклицала она жалобно. – Я на каблуках, упаду!

– Бегите!!! – сатанея, кричал этот классный фотограф, расстреливая ее из аппарата. – Теперь вниз, к воде! Что вы остановились?! Я сказал: к воде, к самой воде!!!

– Я упаду в реку!

– Стоять!!! На меня!!! Еще! Отвернулась!!! Резко повернулась!!! Еще!!! Вверх, на меня! Еще!!! Побежала вверх, на ходу надевая перчатки!

Блондин в это время стоял с непокрытой головой рядом с Михайловым, наверху, улыбался... Снег летел, на ходу хлещая лицо густыми плевками, влажно и тяжело лежал на обвисших полях шляпы... Вода в Москве-реке была совершенно свинцовой на вид, губительной, могильной...

Наконец Михайлов, весь мокрый и возбужденный, командовал возвращаться.

Они приехали домой – озябшие и уставшие как собаки. Еще пощелкали ее под зонтиком возле подъезда, но все это

уже было – так, на всякий случай. А главное было – там, на набережной, на скользких ступенях у кромки воды, где она резко взмахнула полой пальто, подняв голову вверх... И все они это знали.

Она включила чайник, нарезала колбасу и сыр на бутерброды, и минут десять они втроем молча жевали, отогреваясь.

– Как бригада лесорубов после смены, – сказала она... И они устало засмеялись.

Михайлов потом разговорился, рассказывал про свои выставки в Берлине и Париже. Как он снимал артистов Большого – за кулисами, после спектакля, взмыленных и изможденных... Видно было, что он доволен этим вечером. Доволен.

Она же стала ждать фотографий. Не интервью – там все было ясно, сотни раз проговорено в разных вариантах, ведь при всей изобретательности и разнообразии мыслей жизнь-то у нас, поди, одна, других фактов биографии себе не изобретешь. А вот фотографии ее интриговали...

Наконец через неделю позвонили.

– Нина Аркадьевна? – Она не сразу узнала этот голос – негромкий, с ленцой. – Мы сегодня получили контрольки... Там много чего, надо бы выбрать... Я мог бы зайти к вам вечером, показать... Как, будет у вас настроение?

Они договорились на восемь, ровно в восемь он и позво-

нил в дверь, и это ей понравилось – она терпеть не могла временной расхлябанности. Он опять был в чем-то неброско элегантно, неуловимо стильно. «Голубой», – с непонятным огорчением решила она...

Витя – кажется, в прошлый раз его звали Витя? – открыл портфель и достал лупу и несколько больших листов, разбитых на множество маленьких квадратиков. Это и были контрольки. Она склонилась над столом и – сразу ахнула... Даже на таких крошечных черно-белых заплатках, даже двигаясь и выгибаясь под выпуклым круглым стеклом, эти фотографии поразили ее. Все в них было: косой летящий снег, продрогшее пространство гранитных ступеней набережной, и гибельный шаг до кромки ледяной черной воды, и порывистая женщина в черном пальто и черной шляпе с удивительным, пойманном на лету горчащим взглядом...

Она молчала и смотрела, смотрела...

– Ну? – спросил он, улыбаясь. – Так вот вы какая, поэт...

– Витя... – проговорила она тихо, потрясенно. – Я просто... я не знаю! Передайте Михайлову... Да нет, конечно, я сама ему буду звонить! Но я... Вы сказали, что надо выбрать? А я не могу! Я все, все их выбираю!

– Да, Михайлов – молодец, – согласился Витя. – Он, кстати, тоже доволен. Хочет одну из фотографий – вот эту, у воды, с летящей полой пальто, – сделать плакатом на своей осенней выставке в Женеве. Но, знаете, все мы – молодцы. И вы-то уж точно молодец, все безропотно вынесли! А я разве

нет? Смотрите, какие летящие шарфы я вам навязал, они же совсем живые, видите?

– Да! Да! – охотно и благодарно откликнулась Нина Аркадьевна. – Да садитесь же, Витя, голубчик! Я вам кофе сварю. Она поставила на огонь джезву, спросила:

– А где, кстати, вы так настропалились драпировать простых смертных баб?

Он усмехнулся своей плотной, закрытой улыбкой...

– О, это давно... – сказал он, – у меня когда-то была девушка, кореянка... Она вбила себе в голову, что у нее некрасивые ключицы... И поэтому всегда повязывала, накидывала, накручивала на шею и плечи шарфы и косынки. Она вытворяла с ними черт знает что – вязала узлы, косицы, закидывала на плечи в самых невероятных сочетаниях цветов, закалывала брошкой... Она входила, и за ней вечно тянулись какие-то шлейфы, вихри, тайфуны. Вот от нее я научился – видно, была некая предрасположенность к бутафорским забавам... Выросло потом в профессию... Затянуло...

– А девушка?

Он не сразу ответил, может быть, потому, что с явным удовольствием смаковал глоточками густой вкусный кофе... Показал бровями на чашечку, почмокал одобрительно, отпил еще глоток.

– ...Она уехала в Париж, и по всему дому у меня долго валялись, свисали с полок и вешалок, в самых неожиданных местах развевались эти невесомые шарфики и косынки...

– Почему она уехала?

– Потому что я не держал ее, и она это чувствовала. Мы вообще были дружками и были абсолютно друг от друга свободны. Просто жили вместе, зная, что каждый может уйти когда вздумается... Бывало, она возвращалась под утро, или я уходил и пропадал по три дня... Так у нас было заведено, и никому в голову не могло прийти требовать отчета – где и с кем другой проводит время...

– Вы любили ее? – мельком бросив на Витю взгляд, спросила, доливая ему кофе в чашку, поэтесса.

Он помолчал.

– Не знаю... тут другое... как это объяснить... Это вот точно так, как ты знаешь, что на верхней полке книжного шкафа нужно вытереть пыль. Ее надо вытереть, и ты это знаешь, но есть ведь дела и поважнее. Проходит день за днем, тебя уже раздражает то, что надо вытереть пыль. И вот ты наконец ставишь стул, берешь тряпку, влезает на стул, чтобы вытереть пыль... И вдруг обнаруживаешь цветок в горшке, о котором совсем забыл, забыл его поливать, а он взял и умер... Понимаете?

Он посмотрел на нее прямо и вопросительно.

– Она вообще была забавным созданием, из совершенно иного, чем я, теста. Я человек осторожный и умеренный во всем. Абсолютный комильфо. Никаких эскапад. Моя профессия – самое оригинальное, что во мне есть. Да и та, как вы могли заметить, втиснута в рамки строгого вкуса. А вот она,

та моя девушка... Например, она прыгала с парашютом. Вот что меня еще в ней пугало. Я даже самолетов боюсь. Иногда просыпался ночью и смотрел на нее... Не мог постичь психологию человека, который не только находит в себе силы еще и еще раз подняться в воздух, но и встать на пороге раскрытой двери на безумной, туманной высоте и шагнуть в белесое ничто! Шагнуть!!! Иногда ночью я ощупывал ее плечо и думал: она летела... она сегодня летала... на такой высоте, она была в облаках!!! И не мог, не мог этого постичь!.. Иногда она казалась мне фантомом... Эти раскосые миндалевидные глаза, темные густые брови и вечные скользящие тени на лице от всех этих шарфиков, шалей-вуалей...

Он допил кофе, стал складывать в портфель листы с контрольными снимками.

– Погодите! – спохватился он. – А все-таки какой снимок вы выбираете для интервью?

Они опять вместе склонились над столом. Он подал ей лупу... Опять заскользили под увеличительным стеклом ее летящий шарф вдоль губительной воды, беспомощный взмах руки, старающейся удержать на голове черную шляпу в крапинах снега...

– Этот все-таки? Я так и думал...

И стал собираться. Тщательно повязал темно-вишневый шарф, надел строгое длинное пальто, снял с полки в прихожей свое элегантное английское кепи.

Нина Аркадьевна стояла рядом и внимательно смотрела,

как он одевается.

– А сейчас? – спросила она вдруг. – С кем она, если не с вами, Витя?

Он усмехнулся (эта странная линия губ, уже сложенных в улыбку)...

– Сейчас?.. Сейчас она, поди, с ангелами соревнуется – кто дальше прыгнет с облака...

– То есть?!.

– Эти парашюты, видите ли, имеют обыкновение иногда... Она просто запуталась в своем последнем шарфике... – Он помедлил и сказал невпопад: – Говорят, разница между любовью южан и северян – знаете в чем? На Юге любят тех, с кем спят. А на Севере – спят с теми, кого любят...

И опять его плотно замкнутая улыбка показалась ей не то чтобы кощунственной, но неуместной.

Он надел щегольское свое кепи, поцеловал ей руку и вышел.

В прямом эфире

Эта политическая передача всегда вызывала шквал звонков от радиослушателей. Гена Котляр был опытным шоуменом – резким, парирующим довод оппонента мгновенным и убедительным контрдоводом. Он провоцировал гостей студии на такие откровения, о которых потом им приходилось жалеть. Он придумывал настолько острые темы для своего еженедельного ток-шоу, устраивая в эфире настоящую свалку, что несколько раз дирекция радиовещания на русском языке порывалась задуть эту годовалую передачу в колыхали.

Когда Гена позвонил и пригласил меня в студию, я, обычно уклоняющаяся от любых политических увеселений, не устояла.

И на сей раз ток-шоу превратилось в побоище. Мы с Геной напоминали двоих дерущихся спиной к спине с бандой, напавшей в подворотне. Хотя Гена и сам гениально затевал все драки. Да и тема была болезненная: права неевреев в Израиле.

– К сожалению, время наше истекает, – профессиональной скороговоркой побежал Гена. – Итак, последний звонок! И очень коротко, пожалуйста!

– Я коротко, – сказал прокуренный женский голос пожилого тембра. – Почему общественность и правительство не

реагируют на то, что в страну приезжает много гоев?

Мы с Геной переглянулись, и он сразу подхватил:

– А вот эта тема и станет главной в нашей следующей передаче. Прошу всех, кто с сочувствием или возмущением выслушал вопрос нашей радиослушательницы, – простите, ваше имя?..

– Мария...

– ...выслушал своеобразный вопрос Марии и хочет подискутировать на эту тему, выйти с нами на связь в следующий четверг, как обычно, в двенадцать ноль-ноль...

Он сделал отмашку звукооператору – тот пустил меланхоличную музыкальную заставку, – глотнул воды из стакана и сказал:

– Гои здесь ей мешают, старой бляди...

Когда мы вышли из студии, выяснилось, что звонившая только что старуха оставила для меня свой телефон и очень – было подчеркнуто в записке – просит позвонить.

– Еще чего! – буркнула я и смяла записку. Поискав глазами урну и не найдя ее, машинально опустила комочек бумаги в карман плаща.

Но весь этот забитый делами и встречами день была раздражена и рассержена на себя, на Гену – что не ответили прямо в эфире, получается, что уклонились, перенесли разговор на неделю, а это всегда расхолаживает. Думала даже: не попроситься ли к Гене на следующую передачу?.. И вечером

не могла работать, ходила, бормотала, репетировала – непонятно для кого и перед кем – гневную отповедь. Наконец пошла искать по карманам плаща мятый шарик записки, нашла, разгладила и села в кресло у телефона.

Она обрадовалась моему звонку страшно – благодарила, разволновалась, заплакала... И на меня обрушилась короткая и бурная, как ливень в горах, жизнь, любовь и неудавшаяся смерть этой двадцатишестилетней женщины.

Я не прерывала, не могла прервать, не смела: литераторам знакома эта охотничья – как ни грешно это – окаменелость азарта, неподвижное напряжение рыбака, высидевшего хороший клев.

– Я в Киеве родилась – вы представляете, что это такое, нет? Это оголтелый извечный антисемитизм учителей, учеников, ребят во дворе... А я еще и нерадивая была, особенно по чистописанию, почерк был ужасный... Все переписывала, переписывала каракули... На букве «з», помню, достаралась: все ж таки получила пятерку...

Потом отца посадили за экономические нарушения. Вроде кто-то подставил его там, на предприятии, я не знаю, маленькая была, а потом про это в семье не больно-то распространялись. Засудили на семь лет, он шел по этапу в Усть-Кутский район. На этапе с него сняли туфли, шел в тапочках.

Ну, а потом мы с матерью к нему приехали и жили там несколько лет. Я выросла в тех краях, среди эков, знаете

ли... И даже любила тамошнюю жизнь. Кстати, эки гораздо честнее, чем комсомольцы-добровольцы, стройотрядники эти, что приезжают заколачивать рубль... До их приездов мы зимами всегда вывешивали авоськи с продуктами за окном.

...Но я не к тому... Господи, вот вы позвонили, а я так волнуюсь, черт-те что несу!.. Только не бросайте трубку, ладно, даже если вам совсем не нравится, что я говорю, ладно? Можно, я сигарету возьму? Минутку?

– Идите, идите...

Она вернулась быстро, я слышала, как щелкнула зажигалка, как шумно, вкусно она затянулась...

– Ну, отец там хорошо работал, был ударником, то-се... ему скостили срок, мы вернулись в Киев... Вот вас, конечно, шокировал мой звонок, мой вопрос... Вы – писатель, гуманист, либерал, да?.. Нет, погодите, вы слушайте! Вы представить себе не можете, как я страдала, будучи ребенком, подростком... Я верю, есть люди, которые переносят это гораздо легче... Ну, привычнее, что ли. Не знаю – может, для этого мудрость какая нужна, смирение... А у меня – как услышу вот это самое... ну, оскорбление по нации, – у меня не то что кровь в голову бросается – я вся, вся закипаю, дурею, как бешеный пьяный заяц! Несколько раз в такие драки ввязывалась – не дай бог! – меня милиция увозила...

Я от отчаяния, знаете, даже креститься хотела – думала, буду как они все, может, ослабнет в них эта ненависть...

Правда хотела креститься. Но Бог наш не допустил. Один раз церковь была закрыта, в другой раз подвернула ногу прямо на пороге храма.

Ну, а потом я истошно влюбилась, не на жизнь, а на смерть, и мне уже ни до Бога, ни до черта дела не стало...

Он был приятель отца, гораздо старше меня, взрослый человек – семья, двое детей. Боялся идти со мной до последнего – отца, я так думаю, боялся... Но вот душонку мою полудетскую помотал, покуражился... Знаете, есть такие мужики – страшно хотят девочкам нравиться. Чуть-чуть пофлиртовать, так, с высоты своего умудренного возраста, влюбить в себя, поиграть маленько с полуобморочной от любви мышкой... Взять в ладони личико, аккуратно поцеловать в лобик... Пригласить в кафе и отчитывать, что девочка в институт не готовится, не за-ни-ма-ет-ся... Это очень их бодрит, дает импульс, разнообразит будни... Ну, а я его и сейчас люблю, и до конца жизни любить буду...

Мне ведь едва семнадцать исполнилось, когда я с собой кончала – выбросилась из окна. Четвертый, знаете ли, этаж. Не вру.

– Но?!

– Можете представить, упала на куст сирени. Только обе ноги переломала, а так даже позвоночник цел... Перед тем как сигануть, позвонила в «Скорую», чтоб все пути отрезать. Сама себя стыдилась. «Але, – говорю, – «Скорая»? Тут какая-то девчонка на асфальте лежит, наверное, выки-

нулась», – адрес продиктовала и – к окну.

– А вы помните, как летели? – жадно спросила я. Не удержалась.

– Помню, конечно, – сказала она просто.

– Страшно было?

– Лететь? Нет, лететь не страшно. Страшно на подоконник сесть, ноги вниз свесить... и вот это последнее усилие – вперед рывком... а лететь... нет, лететь уже не страшно...

Это потом тошно, в больнице, – когда на тебя из соседних палат разный калечный народ поглазеть приползает... Тошно, когда тот, из-за кого ты ветер обнимала, ни разу не пришел навестить, а когда вышла из больницы и приковыляла к нему на работу, на костылях-то, – ух, как он струсил! – весь пятнами пошел и трусцой – на другую сторону улицы!

А я совсем себя потеряла, пыталась догнать его – на костылях! И дико вслед хохотала!

И вот тогда я решила: если не с ним, то все равно – с кем! Ну и, как с костылей слезла, в такой загул ушла, ужасающий, темный, что от меня не только родители, подруги – от меня черти отвернулись...

И так года три я мотылялась везде, куда нелегкая меня заносила, все перепробовала, стала болячкой родителей, притчей во языцех, мной соседи маленьких дочек страшали... Когда сама себе омерзела, решила репатриироваться... Разрешите, если не брезгуете этим разговором, я сигарку опять

возьму, а?..

Через минуту пришла, попыхивая, продолжала говорить все быстрее, грубее, откровеннее:

– Приехала сюда, попала в кибуц на севере... Хороший кибуц, симпатичные простые люди... Поначалу держалась, учила язык, по утрам работала... Потом однажды напилась с тоски, и все пошло по новой – блядство, пьянки, марихуана... Ну, скажите – кто это должен терпеть? Конечно, в конце концов меня выгнали из кибуца – за какую-то очередную драку с моим тогдашним сожителем...

Помню утро: стою на дороге, ловлю попутку – деваться мне некуда, кроме как добираться в Тель-Авив, в министерство абсорбции. Первым остановился один типичный «дос» на «Фольксвагене». И – с ходу, едва отъехали, стал запускать лапу куда его не просили. Я и выдала все, что о нем, поганце, думаю. Он немедленно остановил тачку и выпихнул меня на шоссе... Интересно, что потом он оказался нашим соседом по подъезду. В нашем поселении, я – как вы, наверное, поняли по номеру телефона – живу в поселении под Иерусалимом... Да, соседка... Приветливый, вежливый... Жена такая квелая, пятеро детей...

– И как же вы общаетесь?

– Ну что вы, он же меня не узнал! Меня узнать невозможно: я – религиозная женщина, в парике, в надлежащем прикиде... Так на чем я?.. Ах да – дорога, зимнее утро, холод собачий... Я в короткой юбчонке и кофточке... Вторым попал-

ся пожилой марокканец, который начал с того же. И я что-то, знаете – замерзла, что ли? – расплакалась: ну, думаю, во что я превратилась, если при взгляде на меня у мужиков только одна мысль и возникает. И говорю ему: «А если б твоей дочери такое предложили? Если б она вот так, чужая всем, голодная, без копейки денег, зависела на дороге от доброй воли проезжего кобеля?..» Тогда он, знаете, изменился в лице, остановил машину у придорожного ларька, купил мне питу, довез до самого министерства и напоследок сунул мне в руку мятую двадцатку... Знаете, у этих простых восточных людей гораздо мягче сердце, чем у нас...

...Ну, не буду я морочить вам голову своими дальнейшими похождениями – они вполне омерзительны.

В конце концов я узнала, что где-то у хабадников можно приткнуться в таком их общежитии, что ли, нечто вроде ешивы для девушек. Но, конечно, без комедии с униформой не обойтись – знаете, эти платья с длинными рукавами в самую жару, эти черные колготки в июле... Пришла я, значит, стою на лестничной площадке четвертого этажа у них там, где мне разъясняют условия приема, и думаю: да ладно, что мне, впервой прикинуться ради крыши над головой, нормальной еды! И как только вот этими самыми гнусными словами подумала, тут же ноги у меня подкосились, и я покатила по лестнице вниз, чуть не до первого этажа.

– Споткнулась?

– Да нет... Это мне дали понять, что я последнее терпе-

ние вычерпала и дальше чтоб, мол, не обижалась... Ну, я все правильно обычно понимаю...

Во-от... и, знаете, стала я там тихонько жить, учиться... очень всех сторонилась поначалу, потом немного отошла... Вижу, девчонки и эти... училки их... вроде не брезгуют мной, а ведь я так по-садистски сразу все им о себе рассказала! Нет, вижу: не брезгуют... И в конце концов поняла, что только эти люди, которым все обо мне известно, – только они приняли меня всем сердцем, несмотря ни на что, и любят меня, и... это единственное место и единственная часть общества, где меня готовы принять такой, какая я есть... Прошло еще полгода, и я сказала: сватайте меня...

Она помолчала мгновение и легко проговорила:

– Вот, собственно, и все... Муж у меня очень хороший человек, программист, умница, так что все у меня отлично... Вот и живем...

– Он из религиозной семьи? – спросила я.

– Да нет, он... Он, понимаете, своеобразный человек... Полурусский, полуяпонец... Прошел гиюр, стал евреем...

Я вспомнила, по какому поводу ей позвонила, вспомнила дурацкий ее вопрос в прямом эфире. Дурацкий – на фоне всей ее жизни...

– А сколько у вас детей?

– Трое с половиной, – сказала она. – Четвертый родится через пять месяцев...

Собственно, разговор был исчерпан, история кончена, ли-

сток, лежащий передо мною на телефонном столике, исчеркан беглыми закорючками... Надо было прощаться. Я стала говорить какие-то слова, которые, как мне казалось, она должна была от меня услышать. Но она перебила.

– Все у меня в порядке... – повторила задумчиво. – Все у меня хорошо... Хороший муж, спокойный, мягкий, добрый человек... Только, конечно, никогда не смогу я его любить.

– Почему?! – воскликнула я, потрясенная упрямством этой несмирной женщины.

– Душа чужая... – проговорила она хрипатым, старческим своим голосом. – Душа-то чужая...

Мастер-тарabuка

К открытию выставки все уже было готово. Он сидел в галерее, пил с Шерманом холодное пиво, принесенное из соседней забегаловки, и оглядывал картины на стенах.

Это была первая его серьезная выставка в стране. Прошел год после приезда – целый год, в течение которого он болтался по городам в поисках работы, по галереям в попытках заинтересовать хозяев своими картинами, по кибуцам и сельхозкооперативам, стараясь получить заказы на раскрашивание водонапорных башен.

Наконец Шерман дал согласие выставить его работы к празднику Суккот на целых две недели. Время было хорошее, осеннее, туристическое – Митя строил планы и ждал от этой выставки некоего поворота судьбы.

– Осталось последнее, – сказал Шерман, прилебывая пиво и отирая толстой пятерней пену с усов. – Сейчас приедет специалист по освещению... Я люблю, чтобы всем занимались профессионалы, – сказал он, помолчав.

Казалось странным, что у этой пивной бочки, обсиженной бородавками, одна из самых эстетских и дорогих галерей в стране.

– Я не как некоторые: повесил картины, и будь что будет, – добавил он. – Последнее слово в экспозиции у меня говорит специалист по освещению.

Тут раздался грохот, и в витрину галереи чуть не влетел мотоцикл. Юноша, примчавший на нем – необычайно хрупкий рядом со своим блестящим черным быком, – снял шлем, тряхнул гривой волос и оказался девушкой. Это и был специалист по освещению.

Она вошла, улыбаясь широкой клоунской улыбкой, шлем свисал на ремне со сгиба тонкого локтя, как корзинка с ягодами. Мгновенно стала командовать, спорить по экспозиции, перевесила три картины местами и при этом смеялась, смеялась – странная особа: ничего смешного Митя во всем этом не находил. Но была она очень хороша, впоследствии выяснилось, откуда в ней странное сочетание восточной отрешенности и западной деловитости. Восточный «крой» внешности – длинные брови на узком смуглом лице и особенное, стремительное изящество походки – она заимствовала от отца, иракского еврея, прибывшего в страну в конце пятидесятых годов. Прозрачные, чуть выпуклые серые глаза с россыпью золотых крапинок на радужке были материнскими. Ее мать вывезли перед войной из Германии в Палестину дальновидные и богатые родители. Эта взрывчатая смесь породила пятерых шумных, резких в движениях, обуйанных страстью к мгновенному переключению жизненных скоростей, горластых детей обоего пола. Семья содержала два больших магазина электротоваров – в Тель-Авиве и Яффо – и фирму по установке освещения разных объектов. Впрочем, все это выяснилось позже.

Несколько споткнувшихся друг о друга взглядов, две-три фразы (исключительно по делу – она действительно была классным специалистом: где-то убрала прямой свет, где-то направила его прямо на картину, где-то приглушила, где-то вдруг осветила пустой угол с одинокой плетеной корзиной, – и экспозиция выставки мгновенно приобрела респектабельный, неуловимо западный, *дорогой* вид), клоунские складочки вокруг ее всегда смеющегося рта, точные и плавные взлеты-движения рук, унизированных дешевыми серебряными браслетами, какими – целыми гроздьями – торгуют арабы на «шук пишпишим», блошином рынке в Яффо, и, главное, его, Мити, неожиданное и не свойственное ему с женщинами смущение – словом, минут через двадцать поняли оба, что влипли.

Так началась эта легкая, забавная связь...

В то время он за гроши снимал мастерскую в старом арабском доме в районе Яффского порта, неподалеку от «шук пишпишим» – крикливого, пестрого, знойного, пропахшего корицей и кориандром, маслами и марихуаной, пропитанного затхлыми запахами старых вещей, свезенных сюда эмигрантами разных стран и эпох, мерцающего из тьмы глубоких лавок зеленоватой медью блошиного рынка, расплзшегося разлапистым крабом по дюжине окрестных переулков.

Железные, крашенные ярко-синей масляной краской

ставни высоких мавританских окон после полудня защищали комнату от прямых лучей палящего солнца.

Она приходила часам к трем, легкой узкой ладонью выбивала по разохшейся двери дробь, он открывал, они обнимались в дверях и, проковыляв так несколько шагов, валились на ощупь на широкий деревянный топчан, застланный пестрым восточным покрывалом, купленным по дешевке все на том же блошином рынке.

...Она серьезно занята была в семейном бизнесе, но, кроме того, мастерила замысловатые украшения из бусин старого тусклого коралла, меди и серебра, лепила из глины и обжигала потешные фигурки танцующих евреев, которые быстро распродавались в дорогих туристических галереях в Яффо, писала стихи и – потрясающе играла на тамбурине.

Это выяснилось в первый же день, когда, поблескивая в полутьме то влажной от пота спиной, то узким плечом, вдруг открывающим белое полукружье груди, она прохаживалась, осваиваясь в его мастерской. И увидела на полке, среди стеклянных банок, кистей, бутылочек с лаком, тамбурин, купленный Митей по случаю здесь же, на блошином рынке.

– О, тарабука!

Немедля уселась на стул в той позе, в какой садилась на мотоцикл, тонкими коленями обхватила бочонок с натянутой на него пергаментно-сухой кожей и легким хлопком сложенных пальцев извлекла одинокий звук – пустынный и глу-

хой. Этот тянущий душу оклик древнего пастуха несколько мгновений таял между ними... Вдруг дробь переката – с запястья на ладонь – рассыпалась по мастерской, как рассыпается по склону горы стадо овец; монотонно и упруго бормотали обе руки на натянутой коже, вперебивку, легкими звонкими шлепками ладоней одна за другой; затем, на подкладке нежного гула, который она создавала трепетанием пальцев левой руки, правая стала плести сложнейшие рваные ритмы, рука металась, билась, как бабочка в сачке, сновала рыбкой, зависала, вытягивая из шкуры невидимые нити замирающего звука, и в тот самый миг, когда он угасал, гулкий и ровный набат колокола вновь распахивал кулису пустыни, за которой обрушивался грохот волн о дамбу, а следом пробегало стадо степных скакунов и запоздало, робко – скакали копытца заблудившегося жеребенка...

Приподнявшись на локте, он зачарованно смотрел на голого божка с тамбурином в коленях. В полутьме она была похожа на мальчика-подростка. Несколько тонких солнечных лезвий от ставен пересекали ее плечи и грудь. Выпуклые серо-золотые глаза стрекозы смотрели сквозь него, руки продолжали изнурительную пляску. Нежный рокот, любовный морок-бормот плыл по сумеречной прохладе мастерской...

– Где ты научилась?! – спросил он, когда она опустила обе ладони на тамбурин, словно успокаивая разгоряченного коня.

– Митья, ты имеешь Мастер-гарабуку! – сказала она, подняв палец и важно улыбаясь.

(Позже обмолвилась, что игре на этом инструменте обучил ее дядя, младший брат отца, тот, что в юности в Багдаде несколько лет сопровождал игрой на тамбурине выступления самой непревзойденной Надьи – знаменитой танцовщицы, на чей танец живота съезжались любоваться богатеи «со всего Бовеля».)

...Крики чаек в порту долетали до окон мастерской. И часто им вторила дробь и синкопические гулкие удары.

Бывало, она пальцами и ладонями выколачивала на Митиной спине сложные ритмы, изображая губами и горлом звуки тамбурина. Это было щекотно и смешно. Никогда и ни с кем до того он так заразительно и много не хохотал в постели.

– Смешно? – спрашивала она после каждого взрыва хохота. – Правда смешно?

И он отвечал:

– Обхохочешься...

Они виделись чуть ли не каждый день, но ночевать она не оставалась. Строгий устав ее большого семейства, скорее все-таки восточного, соблюдался всеми детьми. Особенно приглядывал за порядком старший брат.

– Я рассказала про тебя Аврааму, – сказала она как-то. –

Он был бы рад познакомиться с тобой...

«Вот, хочет все испортить, – подумал Митя с досадой, – видали мы этих старших братьев-сватов», – а вслух проговорил:

– Как-нибудь, при случае...

– Митья? А что бы ты делал, если б я исчезла?

Он обнял ее, улыбнулся:

– Стал бы тебя звать.

– Как? – удивилась она.

– А вот так. – И он несколько раз ударил ладонью по тамбурину...

Помнится, тогда она пропала на неделю, и он не искал ее. Знал, что придет сама. И она пришла, как ни в чем не бывало, со своей клоунской гримаской в уголках растянутого рта. Сказала, что уезжала в Мадрид с Моти Глюком помогать ему монтировать выставку в Музее современного искусства.

Митя почувствовал злое тянущее чувство в груди. «Неужели ревную?» – подумал, мысленно усмехнувшись. Но она в тот вечер особенно безумствовала, колотила по тамбурину, хохотала, хохотала... Смотрела на него серо-золотыми стрекозьими глазами:

– Митья, для тебя исполняет Мастер-тарабука! – И щекотно выстукивала на его спине сложнейшие ритмы. – Смешно? Правда смешно?

– Обхохочешься...

Месяца через три чудом – а вернее, немислимыми усилиями и челночной дипломатией двух его покровителей – он заполучил годовой грант от Союза художников на поездку во Флоренцию.

Это было захлестнувшим его счастьем: Италия, музеи, картины великих мастеров и возможность писать, не задумываясь о куске хлеба... Последние недели перед отъездом он был так возбужден, так озабочен приготовлениями в дорогу, так боялся всего, что могло бы помешать сбывающейся мечте... С Мастер-тарабукой они почти не виделись... Встретились только перед самым отъездом, мельком. Он был рассеян, весел, небрежен... Хоть убей, даже не помнил – как расставались.

И уехал.

Италия смыла с него всю прошлую жизнь, все любви и дружбы, поглотила, провернула его, словно в мясорубке. Год пролетел – не ухватишься, но ему удалось зацепиться в одной дизайнерской фирме и остаться в одном из городков под Флоренцией еще на год... За это время у него было три связи – две пустячные, одна задевшая настолько, что несколько раз всерьез задумывался: не жениться ли? Однако бог милостив, и два года спустя после отъезда он вернулся в Яффо...

Не сразу вспомнил о Мастер-тарабуке и не сразу стал ее искать. Просто поначалу чего-то недоставало в морском воз-

духе этой местности – крикам чаек в порту не вторили гулкие удары тамбурина. Однажды, сидя в компании художников в портовом ресторанчике (здешние арабы подавали к жареной форели какой-то особенный, кисло-терпкий соус), он обознался, приняв за нее какую-то девушку, входящую в двери, и по внезапному болезненному толчку в груди понял, что немедленно хочет увидеть ее, услышать ее смех, заглянуть в серо-золотые глаза стрекозы...

Он стал спрашивать о ней, разыскивать повсюду. Наконец кто-то сказал, что она уехала в Швейцарию, живет в Цюрихе, замужем...

Конечно, он не стал горевать – какая чепуха, в самом деле!.. Да и странно было бы ожидать, что она здесь тоскует по нему в одиночестве... Она забавно смеялась, это правда... «Митья, ты имеешь Мастер-тарабуку!» Дай бог ей счастья...

Прошел еще год, он забыл о ней. Вернее, вспоминал только по праздникам, когда мальчишки выносили на улицы тамбурины и неумело били в них, стараясь «переколотить» один другого. Вот тогда некоторое сжатие... да нет, легчайший сквознячок нежно так пролетал по сердцу... нет, не мог он этого объяснить!..

Однажды сидел в мастерской у друга-скульптора.

Вдруг открылась дверь и вошла она – просто и буднично: в том же мотоциклетном шлеме, та же клоунская длинная улыбка, те же серо-золотые глаза. Он ахнул, оцепенел, вско-

чил ей навстречу, они крепко обнялись, поглядели друг на друга, расхохотались... Она совсем не изменилась.

– Да что ж ты – так и едешь по всему миру на своем мотоцикле? – смеясь, спросил он.

– Нет, конечно, одолжила у брата на месяц, пока тут кручусь...

Вместе вышли на улицу. Ему нужно было ехать куда-то по делам – неважно, он уже забыл обо всем. Сейчас важно было только то, что она вернулась. И уже невозможно внятно объяснить самому себе – почему, почему он уехал без нее, почему жил без нее эти годы и как же теперь загладить свою вину, как не отпустить ее, вот так прижать к себе и уже не отпускать от себя ни на шаг!

Она села к нему в машину «на минутку», и, заехав на задворки какого-то здания, он остановился, повернулся к ней, они подались друг к другу, затянув долгий нежный поцелуй стосковавшимися губами.

Наконец она оторвалась и, уперев ладони в его грудь, долго пристально всматривалась в его лицо своими веселыми стрекозьими глазами. Потом проговорила:

– Митя, у меня СПИД.

Он взмок мгновенно и обильно, словно его окатили фонтанные струи. Волна жара поднялась из желудка, руки и лицо покрылись гусиной кожей.

Первым желанием было – бежать не оглядываясь, бросив

ее вместе с машиной тут же, на задворках старого Яффо. Страшным усилием воли он пригвоздил себя к сиденью и даже не откинулся назад, не отодвинулся, не отвернулся.

Она стала рассказывать, горько улыбаясь, как отгородились от нее родные, как презирает ее старший брат Авраам... Говорила просто, буднично, снимая легкой ладонью слезы, катящиеся по щекам...

– Вот куплю колокольчик на блошином рынке, повешу на шею, буду ходить...

– Зачем – колокольчик? – машинально спросил он, почти не слыша, судорожно вспоминая, что с утра был у зубного врача и там, должно быть, ранка еще не затянулась...

– Колокольчик на шею и балахон с капюшоном на лицо... – повторила она. – Так прежде бродили по свету прокаженные... Ты не бойся, – сказала она, глядя на него прямо, – поцелуй не заразен. Ты же знаешь, заражаются через кровь или...

– Или, – слабо улыбнувшись, повторил он. И опять вспомнил, что с утра был у зубного врача.

– Я уверена, что ты чист... Все это случилось уже после тебя... Ты уехал, Митья, и не звонил... Я звала тебя. Я каждый день играла на тарабуке – мне казалось, что я выманю тебя оттуда... Никогда я не играла так прекрасно...

– Это... твой муж? – проговорил он наконец.

– Нет, – сказала она легко, – я живу с одним парнем, беднягой, которого заразила, не зная еще, что больна...

Он заставил себя еще посидеть с ней рядом, не в силах прикоснуться к ней и умирая от ужаса... Заставил себя вновь и вновь выслушивать ее жалобы на семью...

– Только ты один, – говорила она, плача и улыбаясь своим клоунским ртом. – Только ты один не изменился в лице, когда узнал...

Наконец он дождался, когда она выйдет из машины, невероятным напряжением лицевых мышц удерживая на лице улыбку, помахал ей рукой и, когда она исчезла за углом, открыл дверцу машины и, собрав всю слюну во рту, сплюнул на грязный мазутный асфальт. Ему показалось, что в слюне кровь. Он вышел, присел на корточки и долго с колотящимся сердцем всматривался в крошечную пенную лужицу...

Так начался изнурительный кошмар этих двух недель, в продолжение которых он пытался заставить себя решиться на проверку и одновременно уговорить, что здоров и ни в какой проверке не нуждается.

Чтобы избежать контактов с женщинами, объявил двум постоянным подружкам, что уезжает на несколько дней в Германию, а сам часами сидел в запертой, с закрытыми железными ставнями мастерской. Бродил при свете лампы от картины к картине, а когда останавливался перед большим острым обломком старинного зеркала, подобранного у антикварной лавки, долго и тупо разглядывал свое исполосованное солнечными лезвиями сквозь ставни лицо. Часто взгляд

его падал на тамбурин, запыленный с тех пор, как она играла на нем, тогда подходил и вяло шлепал ладонью по туго натянутой коже.

Он перестал спать и почти ничего не ел... Стал подсчитывать, сколько проживет еще, если заразился. И как быть – тянуть ли резину мгновенно осевшей жизни или уйти сразу, не успев стать парией и проклятьем для друзей и женщин? И как и у кого – не вызывая подозрений – узнать, насколько быстро проявятся признаки болезни?

Он резко похудел, и в один из этих тягостных тупых вечеров у него вдруг начался приступ астмы – первый приступ болезни, которая потом будет мучить его всю жизнь.

Начался этот приступ неожиданно – от взгляда все на тот же покрытый пылью тамбурин. Ему показалось, что пыль мешает ему дышать, забивается в горло и ноздри, оседает на легких, пробкой стоит в бронхах. Прокашлялся, пытаясь избавиться от незнакомого ощущения, но пыль преследовала его – она уже носилась по мастерской, шевелилась на полках, облачками поднималась при каждом шаге, при каждом движении.

Он закашлялся, снова и снова пытаясь прочистить горло, все чаще и чаще дыша, сипя, сплевывая слюну, пытаясь вдохнуть, протолкнуть воздух внутрь сквозь игольное ушко горла... Наконец схватил проклятый тамбурин и, кулаком толкнув ставни, выкинул его наружу. Тот ударился о камни забора напротив и покатился вниз по крутизне узкой улоч-

ки, запрыгал по ступеням, нагнал какого-то испуганно отпрянувшего туриста, покатился дальше...

Морской воздух криками чаек влился в мастерскую, влажно зашевелился в занавеске на двери, раскачал плетеный колпак на лампе под высоким потолком...

Наутро Митя уже сидел в коридоре отдельного флигеля во дворе клиники, дожидаясь своей очереди – на анализ крови.

И спустя несколько адовых дней, перемежающихся приступами удушья, которые он считал первыми признаками заражения и все-таки надеялся на что-то немислимое, неизреченное, лишь ночами выдыхаемое им словом «...О-о-осподи!!!» (самыми страшными были ночи и мысли о необходимости и неотвратимости самоубийства), – он опять сидел в чертовом флигеле и ждал своей очереди. Его колотил озноб.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.